

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 8. “ПРИРОДЫ ВЕЛИКИЙ ПОМИНОК”

1913 год. Последний “спокойный” год России, как о нём позже многожды говорили и писали.

Год 300-летия дома Романовых, празднование которого должно было стать лишним свидетельством несокрушимого могущества империи. В Санкт-Петербурге готовились к прибытию антиохийского патриарха Григория IV.

Бурное промышленное и культурное развитие страны и впрямь поражало. К означенному году были заложены и начали воплощаться в жизнь проекты, осуществлять которые пришлось уже иной власти при ином строе. В 1910 году начались работы по строительству Волховской гидроэлектростанции и меотрополитена. В 1912-м – закладывались ДнепрогЭС и Волго-Донской канал. А в 1914-м началось строительство железной дороги Туркестан–Сибирь.

К 1913 году в стране выходят 2000 газет и журналов. О масштабах книгоиздания говорит тот факт, что количество изданных книг и их общий тираж составляют количество и тираж изданных в это же время книг во Франции, Англии и США вместе взятых.

А ещё в России царит мир. Пока. После Ленского расстрела – никаких внутренних кровопролитий. И внешних – тоже. Уже удалось избежать участия в двух балканских войнах, куда Россию усиленно затягивали.

Этот 1913 год потом многие вспоминали с дикими приступами ностальгии по тому времени. Те, кто этой эпохи не застал, через десятилетия стали сочинять красивые легенды о “России, которую мы потеряли”, заставляя соотечественников поверить в сказки, несочетаемые с реальной жизнью.

А ведь было, было о чём тревожиться. Но о том, что это затишье – даже не перед бурей, а перед вселенским землетрясением, – задумывались немногие.

К таким немногим принадлежал, в частности, прочно и надолго забытый, а в то время весьма известный писатель и черносотенный деятель Иван Родионов, вещавший в 1912 году на заседании Русского Собрания:

“...Русская душа с тысячами смутных хотений, с тысячами неосознанных возможностей, подобно безбрежному океану, разливается – через край... Великий народ... создавший мировую державу, не мог не быть обладателем такой воли, которая двигает горами... И народ доспел теперь до революции... Я не верю в Россию... не верю в её будущность, если она немедленно не свернёт на другую дорогу с того расточительного и губительного пути жизни, по которому она с некоторого времени пошла. Потенциальная сила народа тогда только внушает веру в себя, когда она расходуется в меру... У нас же этот Божеский закон нарушен”.

Ещё до начала всех торжеств произошло событие, всколыхнувшее всю культурную публику. Правда, смысл происшедшего так и остался неразгаданным. Происшествие более походило на грозное знамение, чем на странный для многих, реальный эпизод.

16 января в Третьяковскую галерею пришёл бледный, бедно одетый человек среднего возраста. Засунув правую руку за пазуху, он долго стоял перед суриковской “Боярыней Морозовой”, напряжённо вглядываясь в каждую деталь картины. Казалось, он безмолвно беседовал со всеми её персонажами по отдельности. Ненависть пополам с жалостью сверкала в его глазах, когда в них отражались смеющиеся лица горожан, ликующих при виде увозимой на верную смерть боярыни. Нежность и ласка блестели в них пополам с непрощённой слезой, когда он ловил своим помутневшим взором юродивого, воздевшего двуперстный крест, и переводил взгляд на торопливо идущую, прижавшую в ужасе и мольбе руки к груди Евдокию Урусову... И совершенно менялось лицо, когда он подолгу, пытаясь ещё что-то глубинное понять и услышать внутренним слухом, вглядывался в сидящую на розвальнях Федосью Морозову. Сидящую так, словно вознеслась она над всей толпой, а воздетый над её головой тот же двуперстный крест будто осенял не только собравшихся, а весь честной русский люд – и тех, кто приказал отправить её в Печерский монастырь, а потом в смертную боровскую ссылку и заморить голодом.

(“Персты же рук твоих тонкостны и действены... очи же твои молниеносны...” – из послания Аввакума Федосье Морозовой, Евдокии Урусовой и Марии Даниловой... Женщин со скорбными лицами писал Суриков с девушек-староверок на Преображенском кладбище, а саму боярыню – с уральской начётчицы. На рубеже XIX–XX веков такие типы ещё не были редкостью.)

...Долго стоял, глаз не отводил... Наконец, пошевелился. Прошёл чуть далее – и повернулся к картине Репина “Иван Грозный и сын его Иван”. Там – свет зимнего дня. Здесь – тьма царских покоев. Там – народ, братья и сёстры – и враги смертные. Здесь только двое – отец и сын, царь и царевич, де-тоубийца и жертва. Давящая темнота – и кровь, кровь, кровь...

– Довольно крови!!! – На этот страшный крик обернулись немногочисленные посетители и увидели, как человек выхватил из-за пазухи сапожный нож и ринулся к картине. Один удар, второй, третий...

Старовер-иконописец Абрам Балашов после этого покушения на репинский шедевр был признан психически больным и заключён в “жёлтый дом”. Истинно верующие люди, однако, едва ли могли усмотреть признаки сумасшествия в его поступке.

Задавленная, выключенная из множества сфер жизни, собственными усилиями всплывающая на поверхность вопреки государственной воле, веками мучимая черносошная, стародедовская, н а р о д н а я Русь криком кричала это “Довольно крови!” на протяжении нескольких столетий. Её не слышали. Не желали слышать. И не было никакого дела тому же Балашову до того, что Иван Грозный не убивал на самом деле своего сына Ивана, что царь, изображённый Репиным, – Рюрикович, а не Романов... Царский дом последних двух с половиной столетий представлял собой нечто совершенно отъединённое от народного тела, от народной души. И в этом дворе убивали своих же. По лужам крови шли к престолу. И своей – и подданных... “Немцы”, “антихристы”, духовные оккупанты в своей же собственной стране... Крика не слышат – значит, увидят блеск ножей.

(А ведь ещё и художник страху нагонял. Павел Михайлович Третьяков это сразу отметил: “Вон у Репина на “Иоанне Грозном” сгусток крови чёрный, липкий... Разве это так бывает? Ведь это он только для страху. Она ведь широкой струёй течёт – алой, светлой...” Тут и подумаешь – ведь и в художника метил иконописец. За ложь изобразительную.)

В этом же праздничном году староверы столкнулись с категорическим запретом установить крест на месте сожжения Аввакума в Пустозёрске. О том, что творилось одновременно с этим запретом, с горькой иронией, поведал Фёдор Евфимьевич Мельников в журнале “Церковь”:

“Аввакум, говорится в предписании мезенскому исправнику, казнён “как государственный преступник”, по этой причине не разрешается поставить крест над местом казни. В то же время правительством разрешается в самом сердце России, в Москве и в северной столице устраивать всевозможные чествования в память гр. Толстого... На виду у всех Толстого чуть не обоготво-

ряют. Его портреты, бюсты, статуэтки встречаются на каждом шагу... Не погибла же Россия от столь широкого и почти всесветного чествования знаменитого писателя, полжизни своей посвятившего проповеди анархических начал, отрицающих всякую государственность... И русское правительство, и наши обе законодательные палаты почтительно встали пред памятью Толстого. Беды от этого никакой не случилось. Великий анархист даже не повернулся в гробу. Спрашивается, почему же нельзя было поставить крест над могилой протопопа Аввакума, наипреданнейшего сына России и глубоковерующего христианина? Что бы от этого креста сделалось кому?..

А как смотрит министерство на крест, водружённый над могилой бывшего патриарха Никона? Вот действительно хулитель царя Алексея Михайловича... Он осуждён был собором, между прочим, и за то, что хулил и злословил царя. Никон так и умер, не примирившись с царём Алексеем Михайловичем. Нелишне в самом деле, поставить вопрос: на каком основании правительство терпит крест на могиле Никона, этого нераскаянного государственного преступника и злого ругателя царя и царской власти?"

Что Толстой! Что Никон! Мельников приводил ещё куда более разительные факты.

"В августе прошлого года вся Россия торжественно отпраздновала столетний юбилей Отечественной войны. Никто не назовёт главного героя этой войны, Наполеона, другом России. Он был самым страшным и самым опасным врагом её. Однако как его прославляли в юбилейные торжества!.. Всюду были выставлены его бюсты, портреты, автографы. Все подвиги Наполеона, вся жизнь его освещались в самом ярком и блестящем виде. Выходило, как будто вся Россия чествует память самого Наполеона и преклоняется пред великим и бессмертным его гением. Поставить же св. крест над могилой родного мученика, где-то в заброшенном селе, оказалось невозможным. Министр не разрешил..."

Русское правительство очень любезно разрешило французской нации воздвигнуть великолепный памятник на Бородинском поле в память погибших здесь французов, сражавшихся с нашей русской армией. Никто, конечно, не скажет, что это были благодетели русского государства. Не одна тысяча русских воинов пала от пули и штыковых ударов французских солдат. Последние были расстреляны как враги России. Тем не менее над могилою их, под самым сердцем России, дозволено поставить памятник. Прибывшая на Бородинские торжества из Франции депутация для почтения памяти павших в 1812 году французских воинов была в России встречена радушно и даже торжественно. Русское правительство было весьма внимательно к французам. Но столбовым русским людям, не раз проливавшим свою кровь за честь и спасение своей родины, то же правительство не разрешило поставить простой христианский крест над могилою великого русского же человека, невинно казнённого 231 год тому назад по злому наущению коварного и фанатичного деспота. Это называется национальной политикой!"

Мельников подчёркивал, что невинен Аввакум в том преступлении, за которое был подвергнут лютой казни, что "пламенный в вере своей страдалец-протопоп много пролил горячих слёз, оплакивая смерть своего "света Михайлыча", умершего в единении с "отступниками"... В эти дни торжества "русского царского дома" многие и многие вспоминали слова послания Аввакума "тишайшему" царю: "О царю Алексее!.. Возохни-тко по-старому, как при Стефане, бывало, добренько, и рцы по-русскому языку: "Господи, помилуй мя грешнаго!"... Еретиков никониян токмо любишь, а нас, православных христиан, мучиш, правду о Церкви Божии глаголющих ти. Перестань-ко ты нас мучить тово! Возьми еретиков тех, погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных своих. Право, будет хорошо".

...Пройдёт ещё два с половиной десятилетия – и замечательный русский писатель Иван Созонтович Лукаш, уже в эмиграции пишущий великолепное повествование о боярыне Морозовой, подведёт итог этим душевным и физическим терзаниям.

"Из Смутных Вреён Русь вышла единомушной. Но после духовной смуты, поднятой Никоном, не нашла она единомушья и до наших дней..."

Вот, будет Русь блистать, и лететь, и греметь в победах Петровых, будут везде парить её орлы и гореть её молнии, а всё, а всегда в русских душах бу-

дет проходить тайная дрожь, не то страх, что всё равно, как ни великолепна Россия, в чём-то она не жива, не дышит она. В чём-то отлучена. И в нестерпимой тоске Пушкина, и в сумасшествии Гоголя, в смуте Толстого и Достоевского, в самосожжении Мусоргского, в кликушествах Лескова — “Россия-Рассея, только во Христа крестилась, а во Христа не облеклась” — тоже страшное чужие какого-то отлучения и пречувствие за то великих испытаний и наказаний. Изнемогающая в цепях и непобедимая боярыня Морозова — живое знамение для всех русских, живых — как забыть, что мощная христианская кровь мощно дышит и во всех нас: она нам знамение Руси о имени Господни”.

...Последние два десятилетия знамения следуют одно за другим — как предвестие последних времён. Страшный голод 1891 года. Падение “Тунгусского метеорита” в 1907-м. Появление кометы Галлея в 1910-м.

(Хочешь — не хочешь, а поразишься иным совпадением начала и конца XX столетия. Первый раз комета Галлея пролетела в непосредственной близости от Земли за 6 лет до конца Российской империи, а покушение на картину Репина произошло за 4 года до рокового рубежа. Второе появление кометы и конец Советского Союза разделили 7 лет, и 6 с половиной лет отделили распад мировой сверхдержавы от покушения литовского националиста на рембрандтовскую “Данаю”.)

Всё это не могло пройти мимо сознания Николая Алексеевича Клюева, увлекаемого новыми друзьями в новую литературную группу, входившего в круг литераторов, поначалу показавшихся близкими и созвучными его творческим устремлениям.

* * *

Когда Клюеву помстилось, что его “братским” отношениям с Блоком подходит конец, он в жажде исцеления души и духовного общения обратился к Брюсову с письмом-исповедью, полным глубоко восторженных слов новому собрату: “...Скажу только, что первые слабые и неискренние удары моего долота коснулись Вашего слуха, и как бы на дикой гранитной глыбе видели Вы след строительный усилий моих (щербинки, зазубрины и борозды — мои стихи). Я подавлен величиной данной мне глыбы, — она подобна утёсу, сера и кремниста, в ней тысячи пудов, и ни я сам, никто другой не знает, чем станет она (облака над нею как дымы, и ветер вокруг смолист и горек как куренье). Говорю так, потому что через прикосновение к Вам получил крепость и утверждение — сознание того, что опасно держать огонь за пазухой, — прописным молчаньем жечь себе внутренности. И ещё потому, что яснее, чем эти строки, вижу свет и могущество Ваши. Прозрение сего родило во мне Благоговение и, быть может, больше, чем кому-либо, дало мне право выразить Вам любовь свою...”

И в настоящей вечерний час, когда на всём зарева желтизна, за обледеневшей оконницей треплется под ветром мшистая прадедовская рябина, сидя за пряжей вздыхает глухая мать, — жалуется Богу на то, что дочь её “ушла в Питер”, и захожий старик-ночлежник строгим голосом, в который раз, заводит рассказ о том, как его сына Осипа “в городе Крамштате в двадцать ружей стрелили”, я простираюсь Духом по лицу Матери-России, зырянских зимовок до железных грохочущих городов. И золотым гулом захлёбывается Дух мой. Ибо надо всем Заря — Безглазое Золотое Прощение. И уже вечерняя желтизна, а свет Вашей рабочей лампы за моим окошком...”

Выйдет “Сосен перезвон” с предисловием Брюсова, выйдут “Братские песни” с предисловием Свенцицкого, Клюев будет готовить новую книгу — “Лесные были”, и, отойдя от символистов, расставших с “голгофскими христианами”, окажется в кругу “акмеистов” (как назвал их Гумилёв) или “адамистов” (как предлагал назвать Городецкий). Тот же Городецкий тащит Клюева в новое сообщество за обе руки, в безудержной любви объясняется ему в стихах: “Как воду чистую ключа кипучего, твою любовь, родимый, пью. Ещё в теснинах дня дремучего провидев молонью твою. Ой, сосны старые, ой, звоны зарные, служите вечерю братьям! Подайте, Сирины, ключи янтарные к заветным раям воротам...” “Брата” Городецкий величал “Велесовым внуком”, отсылая читателя к “Бояню — Велесову внуче” из “Слова о полку Игореве”. В статье “Незакатное пламя”, еще не намекая на “вялое” отношение к Клюеву символи-

стов, писал о “безбрежном поцелуе двух этих поэтов, учителя и ученика, Блока и Клюева”, и рисовал свой колоритный портрет природного певца:

“Клюев, тихий и родимый самый сын земли с углублённым в даль души своей сознанием, с шепотливым голосом и медленными движениями. Живёт он на речонке Андоме, в деревне, землю пашет, зори встречает и все песни свои тут же отдаёт односельчанам на распев в хороводах и на посиделках. Лик его с морщинистым, хотя и юным лбом, со светлыми глазами, далеко сдвинутыми под вздёрнутые резкими углами брови, с запёкшимися деревенскими устами, прикрываемыми верленовскими усами, с лохматенькой бородёнкой, — а волос весь дико-русый, — знакомый давний лик в глубине своей живущего человека, только её хранящего и только её законам верного. Низкорослый и скуластый мужичонко этот всем обликом своим говорит о божественной певучей силе, обитающей в нём и творящей”.

Такого Клюева уже требовалось присвоить себе — и никакие символисты рядом не должны стоять!

Клюев пошёл навстречу. Он уже был знаком со статьями Гумилёва и Городецкого о своей поэзии. Пошёл, полагая поначалу, что найдёт здесь подлинное понимание.

Он печатает подборку стихов в “Гиперборее”. В “Цехе поэтов” предполагается издание его сборника “Плясея”. По-прежнему выступает на литературных вечерах по приглашению. Вместе с акмеистами посещает “Бродячую собаку”. Готовит новую книгу “Лесные были”. Обзаводится новыми знакомыми.

Одним из таковых был Сергей Александрович Гарфильд, поэт, прозаик и драматург (кроме того — деятель большевистской партии), писавший под псевдонимом “Гарин”. С осени 1912 года Клюев подолгу жил в его семье, приезжая в Москву. Жена Гарина — Нина Михайловна — через много лет вспоминала странного, необычного гостя.

“Коренастый. Ниже среднего роста. Бесцветный. С лицом, ничего не выражающим, я бы сказала даже, тупым... Длинной, назад зачёсанной, примазанной шевелюрой, речью медленной и бесконечно переплетаемой буквой “о”. С явным и сильным ударением на букве этой... И редко приканчиваемой буквой “г”, что и придавало всей клюевской речи специфический и оригинальный отпечаток и оттенок...”

Зимой — в стареньком полушубке. меховой, потёртой шапке. Несмазанных сапогах...

Летом — в несменяемом, также сильно потёртом армяке и таких же несмазанных сапогах, но все четыре времени года также неизменно сам он весь обросший и заросший, как дремучий его Олонецкий лес...

Читал Клюев свои произведения — свою поэзию также весьма оригинально и своеобразно, — всегда нараспев, как мелодекламируя, но всегда и всё же с большим, неизменным успехом...”

Портрет — и это бросается в глаза — написан рукой человека, который, мало того, что Клюева не понимал и понимать не желал — скорее всего, стремился держаться от него на почтительном расстоянии. При том — что зорко подмечены иные существенные детали. В этом убеждает дальнейшее описание Нины Гариной — уже воспроизводимое по определённому трафарету — трафарету “талантливого лицемера”.

“Клюев был человеком очень религиозным, но как страус, скрывающий свою голову и думающий, что он... не виден, — так и Клюев скрывал свою религиозность, уверенный так же, как и страус, что религиозность для всех, кроме него самого, тайна, не учитывая, что от писательской братии не скроешь никуда — ни своей головы. Ни своей религиозности...”

Наружно Клюев производил впечатление человека тихого. Скромного. Смирненного и бесхитростного — человека, редко опускавшегося на “грешную” землю... человека “не от мира сего”... Святого... Блаженного... Какого-то “братца”... Или вообще “родственничка” какой-нибудь секточки...

На самом же деле, несмотря на всю свою глубоко им затаённую религиозность, он был человеком очень земным, очень неглупым... И очень себе на уме...

Он твёрдо и крепко стоял на земле и не только на своей Олонецкой, но и на других...

Был человеком, который играл... И играл не только “на блаженстве” своём, но и на... дураках, и был не только прекрасным поэтом, но ещё более прекрасным актёром, совершенно зря пропадавшим...”

Здесь многое увидено, но увидено так, что сразу вспоминается взрыв Мити Карамазова: “Ложь всё это! Снаружи – правда, внутри – ложь!” Другое дело, что писались эти воспоминания в 1930-е годы, когда на реальном человеке, которого она некогда знала, плотно, несколькими слоями narосли сплетни и злонамеренные легенды, с расчётом распространявшиеся... Видимо, многое изменилось за два десятилетия и в самой Гариной, и в её отношении к поэту, который некогда “тронут” был “добрым письмом” её мужа “и приветом обожаемой Нины Михайловны”, как Клюев писал в одном из писем. Впрочем, таких людей, как Нина Гарина, он раскусывал в одно мгновение – и далее уже общался с ними в чётко выбранном ракурсе и диапазоне. Он дарил ей свою фотографию с подписью “Народный поэт”, что давало ей возможность лишь укрепиться в своей уверенности: “Играет... Талантливо играет...” При всём том – душой принимал и её, и особенно её мужа – ценил доброе к себе отношение. Что касается “твёрдого стояния на ногах” – то по иному выжить было и нельзя. Что до “блаженности” – то и она была необходима в том литературном мире, в который он попал, прекрасно понимая: здесь нужно иметь как минимум по глазу на каждой стороне головы – при том, что окружающие должны думать, что у тебя и один-то прикрыт, а другой – еле видит.

Гарина со смущённым недоумением, смешанным с некоторым злорадством, повествовала о том, как Клюев рассказывал ей о чтении на званом вечере в одном аристократическом доме. После чтения стихов его и других гостей усадили за стол. Николай, большой любитель сладкого, своей чайной ложечкой зачерпнул варенья из хрустальной вазы. И в то же мгновение хозяйка дома подозвала лакея и велела вынести эту вазу вон.

Унижение было демонстративным, вызывающим. “Белая кость” дала понять “чёрной” – кто есть кто и где находится. Гарина не скрывала недоумения: как после этого можно было продолжать отзываться на подобные приглашения? Но Клюеву надо было на что-то жить, а ещё в большей мере – помогать семье. Более или менее приличные деньги он мог заработать, читая стихи в подобных домах – гонорары за книги и публикации были не слишком велики. И ходил, и читал, и получал своё “жалованье” – и запомнил всё: и реакцию, и отношение. Не хуже недоумевающей Гариной понимал суть происходящего – и всё откладывал внутрь. Глубоко. На самую глубину.

“Быть в траве зелёным, а на камне серым” он научился ещё в юности. Жизнь заставила. Таковым и продолжал быть среди новых литературных “друзей”. При том, что резкое отличие его от прочих “соратников” бросалось в глаза. Настойчивые похвалы Городецкого и демонстрируемая им близость “творческих устремлений” уже не могли не раздражать: очевидно ведь было – насколько расхваленный некогда Городецкий бледнее и ниже его во всех отношениях. С Ахматовой предполагаемого сердечного диалога также не получилось, на душевный контакт она не пошла. Гумилёв... Все его похвалы не могут заслонить осязаемого высокомерия, с которым он держит себя в “Цехе”. Того и гляди – и этот очередную “вазу варенья” прикажет вынести. Остальные...

Один из “остальных”, начинающий стихотворец Георгий Иванов полтора десятилетия спустя с упоением распишет своё общение с Клюевым, и этот клюевский портрет, представляющий собой мозаику из отдельных верных деталей, растворённых в потоке неуёмной фантазии мемуариста, станет в своём роде “хрестоматийным”. Таким Клюева (которого Иванов обозвал “Николаем Васильевичем”) и будут воспринимать в течение многих последующих десятилетий.

– Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?

– Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом живу...

Я как-то зашёл к Клюеву. Клетушка оказалась номером “Отель де Франс”, с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстукe, и читал Гейне в подлиннике.

– Маракую малость по-басурманскому, – заметил он мой удивлённый взгляд. – Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей...

– Да что ж это я, – взволновался он, – дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табуку не

курю, пряника медового не припас. А то — он подмигнул — если не торопишься, может, полпудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

— Ну, вот и ладно, ну, вот, и чудесно — сейчас обряжусь.

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддёвке, смазных сапогах и малиновой рубашке:

— Ну, вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай сверчок свой шесток. А мы не в общую, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно...”

Вся эта эффектная сцена рассыпается в прах при одном-единственном вопросе: в каком это “Отель де Франсе” останавливался Клюев, когда приезжал в Петербург? Он проживал на квартире своей сестры Клавдии и её мужа в Усачёвом переулке — и ни в каких “Отель де Франсах” ни на какой Морской его никто не видел. Одевался Клюев тогда достаточно скромно, ходил отнюдь не в обновах и тем паче не надевал никаких галстуков. Георгию Иванову необходимо было подпустить “пущего контрасту” в соответствии с тем образом Клюева, который складывался в кругу питерской интеллигенции. Поистине, для таких мемуаров не нужно ни памяти, ни чувства времени. Нужно лишь “всё прочее” — литература.

Другое дело — “Гейне в подлиннике”. Деталь слишком значимая и подтверждаемая многими другими мемуаристами, свидетельствующими, что Клюев свободно читал по-немецки и говорил на языке (правда, с чудовищным акцентом), чтобы ею можно было пренебречь. Он вошёл в петербургские литературные круги не просто начитанным, а по-настоящему образованным человеком, не имевшим ничего общего с “крестьянским недоучкой”, каким его воспринимали в “салонах”. Вопрос — где он овладел теми знаниями, которые сам потом с пушим эффектом демонстрировал в строго рассчитанные мгновения, — во многом повисает в воздухе. Во всяком случае, можно предположить сочетание учёбы у старообрядческих начётчиков с непрекращающимся углублённым самообразованием. Гёте, Гейне, Фихте, Якоб Бёме — их книги читались и перечитывались в оригинале. Он обожал Верлена и ради него учил французский язык. Читал и на английском.

Но в литературном кругу так и воспринимался самородком, даром что гениальным. Когда ощущался в его поэзии выход за пределы устоявшегося для окружающих образа — тут и начиналось кардинальное расхождение, практически всегда заканчивавшееся разрывом отношений. Стоило ли длить человеческие контакты, коли не воспринималось самое главное, самое драгоценное в нём?

Акмеисты давили своим культурным авторитетом. Городецкий величал на все лады и ласково жал руку, а для Клюева это пожатие чем дальше, тем больше становилось горше “пожать каменной десницы”. Он однажды всерьёз задумался над сутью своих отношений с Блоком, когда увидел, что тот не воспринимает Николая в его подлинном виде. Он ушёл от Брихничёва, не желая подделываться под его “чертежи” “голгофского христианства”... С акмеистами можно было быть “зелёным в траве” также до определенного срока.

Срок этот настал довольно быстро. Времяпрепровождение молодых поэтов Клюеву скоро опротивело. “Бродячая собака” вселяла отвращение. Увиденные там футуристы просто привели в ужас и своими сочинениями, и своим видом. А 15 февраля 1913 года он читал свои новые произведения в Литературном обществе в присутствии Фёдора Сологуба, Фёдора Батюшкова, Василия Львова-Рогачевского и других маститых литераторов. Читал стихи из новой, готовящейся к изданию книги — “Лесные были”.

*Я вечер, млада, во пиру была,
Хмелен мёд пила, сахар кушала,
Во хмелю, млада, похвалялася
Не житьём-быльём — красной удалью.*

*Не сосна в бору дрожмя дрогнула,
Топором-пилой насмерть ранена,
Не из невода рыба шалая,
Извиваючись, в омут просится, —*

*Это я пошла в пляску походом:
Гости-бражники рты разинули,
Домовой завыл — крикнул под полом,
На запечье кот искры выбрызнул...*

Тонкий бабий голосок вдруг обретал силу и пронзительность от строфы к строфе, словно сметая вон всех сидящих слушающих, которые словно влипли в спинки стульев. “Не сосна в бору дрожмя дрогнула” — и дрожь этой сосны как отдалась в барабанных перепонках почтенных писателей... “Это я пошла в пляску походом” — и от этой пляски захотелось уже вжаться в стены... А голос в такт инструментовке стиха менял ритм, выдавал руладу за руладой, и на каждой паузе хотелось перевести дух — ан нет, плясея не давала!

*Вот я —
Плясея —
Вихорь, прах летучий,
Сарафан —
Синь-туман,
Косы — бор дремучий!
Пляс — гром,
Бурелом,
Лешева погудка,
Под косою —
Луговой
Цветик незабудка!..*

И — меняется голос, вступает парень-припевало, и интонации — вкрадчивые, лихо-злые при виде красы, от тоски и томления по которой рука тянется к булатному ножу.

*Ой, пляска приворотная,
Любовь — краса залётная,
Чем вчуже вами маяться,
На плахе белолиповой
Срубить бы легче голову!*

*Не уголь жжёт мне пазуху,
Не воск — утроба топится
О камень — тело жаркое,
На пляс — красу орлиную
Разбойный ножик точится!*

Ещё не отошли слушатели от этого буйного перепева, как перед ними воочию предстала олонецкая старуха, шепчущаяся с ветром да деревьями, превращающаяся из старицы в молодку и обратно, молодящаяся и снова старящаяся на пороге смерти, поверяющая свои думы и печали полю да вербе, ибо дома и словом перемолвиться не с кем.

*Сын обижает, невестка не слушает,
Хлебным куском да бездельем корит;
Чую — на кладбище колокол ухает,
Ладаном тянет от вешних раки.*

*Вышла я в поле, седая, горбатая, —
Нива без прясла, кругом сирота...
Свесила верба серёжки мохнатые,
Мёда душистей, белее холста.*

*Верба-невеста, молодка пригожая,
Зеленью-латом не засти зари;
Аль с алоцветной красою не схожа я —
Косы желтее, чем бус янтари.*

*Ал сарафан с расписной оторочкою,
Белый рукав и плясун-баשמачок...
Хворым младенчиком, всхлипнув над кочкою,
Звон оголосил пролесок и лог.*

*Схожа я с мишстой, заплаканной ивою,
Мне ли крутиться в янтарь-бахрому?..
Зой-невидимка унывей, дремливей,
Белые вербы в кадильном дыму.*

На этом же вечере, если верить позднейшим записям Анны Ахматовой, разгорелся скандал. “Бородатый старик Радецкий, — вспоминала она, — выступая против нас, акмеистов, и... с невероятным азартом кричал: “Эти Адамы и эта тощая Ева!” В тот же вечер от нас отрёкся Клюев. Когда изумлённый Гумилёв спросил его, что происходит, он ответил: “Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше”. Да, у нас не было лучше!”

Это писалось уже в начале 1960-х годов — и строчки об “отречении” Ключева, очевидно, диктовались ахматовской памятью о тогдашней связи его с Городецким, отношение к которому у неё было абсолютно непримиримым. “Городецкий, вкусив мис(тического) анархизма и соборности, в 1911—12 г. вступил в союз с Гум(илёвым), но, немного поклевав **акмеизма**, убедился в его непитательности (и даже ядовитости), отряс прах и устремился дальше. Картина этого “дальше” ярко обрисована в составленной или анонимно подсказанной им Антологии 1914 (очевидно, довоенной), где Г(умилёв), бывший недавний союзник, объявлен стилизатором, а сам С.Г(ородецкий) — **народником**(?) вместе с Ключевым... а слово **акмеизм** вообще отсутствует. Вся затея совершенно провалилась. Никаких народников и природников нет и в помине, а вопрос об акмеизме обсуждается на всех языках”.

Отрицательное отношение Ахматовой к “народничеству” в стихах крепло и увеличивалось с годами (даром, что она сама, как мы видели, отдавала ему свою поэтическую дань), но уже тогда Клюев почувствовал и понял причину её отчуждения. “Слишком русское”, казавшееся ей стилизацией, она отказывалась воспринимать. Через 2 года Клюев напишет в письме Миролюбову, делаясь с ним впечатлениями о “Ежемесячном журнале”: “Какая чудесная декабрьская книга журнала! И как хорошо, что в отделе поэзии не встречается Година, Вяткиной, Галиной и т. п. до Андрусона включительно. Какая строгость линий намечается у Анны Ахматовой:

*“Божественна, спокойна и легка,
Допишет музы смуглая рука”.*

Я знаю, что Ахматова и компания не верят в моё понимание искусства, думают, что под искусством я подразумеваю прикладное искусство, слышал я, что они фыркают на мои писания, так как, видите ли, у меня истощился “запас культурных слов”, что, по их понятию, является показателем скудости душевной — на всё это претит возражать”.

А по выходе “Лесных былей” как раз и разгорелась заочная полемика между сторонниками “природничества” и апологетами “запаса культурных слов”.

“... Он, кажется, первый поэт русского Севера, страны “чарующих” озёр и “испуганных” птиц, страны лесных сказок и нежных, ещё не исследованных народных легенд и преданий. Это — второй Ломоносов, также пропитанный культурой приютившего его города, но гораздо самостоятельнее, с более крепкими корнями в воспитавшей его среде” (Г. Поршневу).

“Он пришёл в литературу с далёкого Севера и принёс с собою крепкий запах соснового бора и серьёзную, почти молитвенную торжественность его вознесшихся к небу прямых стволов... С нежной любовью занесены Ключевым

на бумагу все оттенки, все тайны сосновых перелесков, со всей их древней мудростью и наивной свежестью” (Л. Войтоловский).

Как бы в ответ раздавались совершенно иные оценки:

“Этого смещения безвкусной выдумки, нарочитой подделки под народность и нагромождения этнографических деталей в третьей книге “Лесных былей” гораздо больше, чем подлинной поэзии, которую дышит “Сосен перезвон”. Мы знакомы случайно с народным говором и песней одной из северных губерний, но многие стилизации г. Клюева поставили нас трудностью понимания в тупик. Что такое “замурданные волосья”, “гостибье”, “зой-невидимка”, “волос-гад” (чёрный, как уж? Но эта ассоциация образов не влечёт, а отталкивает), “неба ясные упёки”, “заревет” (не от слова рёв, а от зари), “зарноокий”, “судина”, “из сигадины один – рыбаку заочный сын”, “зажалкует”? На каждой странице таких выражений немало... В погоне за непосредственностью народной речи поэт теряет чувство меры и свою собственную непосредственность, впадая в вычурный язык не то Андрея Белого, не то Городецкого или Ремизова... Можно пожелать поэту побольше оставаться самим собою, и в новых вдохновениях добиться большей гармонии настроения и его выражений, чем даёт и его первая, пока лучшая книжечка” (В. Чешихин-Ветринский).

“...Язык г. Клюева и по словам, и по оборотам, и по самой манере выражения есть на добрую половину самая форменная фальсификация, в которой подлинно народная речь подвергается такой же легкомысленной переработке, как, скажем, язык культурных кругов в устах лихого армейского писаря, пускающего пыль в глаза деревне на побывке. Тот куражится столичным лоском пред деревенскими – куда им, не разберутся. Этот бахвалится народной отселятиной пред городскими, – сойдёт, – поверят, теперь мода... Всего лучше у Клюева там, где он меньше всего народничает”.

Клюев продолжал удивлять – и это удивление для одних было приятным, для других – отталкивающим. Не успели привыкнуть к “символическим” стихам “Сосен перезвона” – как последовали “сектантские” “Братские песни”. Не успели отойти от них – как является заонежский фольклор в “Лесных былях” – и даже стихи, созданные не на основе северных народных песен, являют собой целый слой неведомых лексических пластов, вбирающих в себя течение жизни и переливание потаённых смыслов на кратчайшем протяжении художественного пространства. Подобное разнообразие и всё увеличивающаяся глубина не поддавались поверхностному восприятию – и проще всего было завести разговор о “стилизации”.

Клюев эту реакцию понял сразу. Понимание происходящего отразилось, в частности, в дарственных надписях на “Лесных былях”, даримых всем знакомым писателям. “Валерию Свет – Яковлевичу Брюсову – мудрому сказителю, слова рачителю от Велика Новгорода – обонежской пятины, прихода Пятницы Парасковии, усадища Соловьёва Гора песенник Николашка по назывке Клюев, челом бьёт – величальный поклон воздаёт. Прощёный день, от рождества Бога-Слова 1913-я година”. Этот “песенник Николашка по назывке Клюев” будет присутствовать в дарственных надписях Александру Блоку, Алексею Ремизову, Николаю Гумилёву... Но здесь же – и отсылка к имени любимой матери “Пятницы Парасковии”, и к “рождеству Бога-Слова”, ибо “кто песни поёт тот, к Богу ведёт”, как написал Клюев тому же Брюсову на шмуц-тителе “Сосен перезвона” и сделал пояснение к приведённому изречению: “Надпись на древнем лесном кресте в урочище “Кимсельга”, Олонец(кой) губ(ернии)”. И здесь древние смыслы накладывались друг на друга, окропленные живой водой слова ещё молодого поэта в новом времени.

Ахматовой же, к которой Клюев тянулся душевно, не получая ответа, он подарил “Лесные были” с простой надписью: “Анне Ахматовой – любимой поэтессе”. Она и осталась для него любимой поэтессой до самого конца, а тогда, на том приснопамятном вечере, Николай не думал ни от кого “отречься”, но, выразив в определённой форме своё несогласие с “соратниками” и по поводу оценки своих новых стихов, и по поводу спровоцированных литературной борьбой нападок на символистов и, в частности, на Блока, нарвался на обвинение в “отречении”. Масла в огонь подлили и присутствующие, в частности Львов-Рогачевский. После огненных проклятий Радецкого он обвинил акмеистов в отсутствии связи с народом, с общественностью. В ответ последовала речь “народника” Городецкого, также не стеснявшегося в выражениях по адресу оппонентов. Выступление Львова-Рогачевского вызвало едкую реплику

Дмитрия Философова в газете “Речь”: “Я, например, очень завидую г. Клюеву, что он – дитя народа, своего рода “владельческий князь”. Но не самоубиваться же мне из-за этого. Какую кособоротку я ни надевай, каким мелким бесом перед г. Клюевым ни расстилайся, всё равно г. Львов-Рогачевский мне скажет, что я не “владельческий князь из народа”, а всего-навсего кающийся дворянин”. Для Клюева же и выход “Лесных былей”, и полемика, разворачивающаяся вокруг них, – были крайне существенны, восприятие его слова культурной читающей публикой имело столь серьёзное значение, что он почёл необходимым, посылая книгу Дмитрию Философову (единственному человеку из мерещковского дома, отнесшегося к нему с непритворным вниманием), объяснить (уже без всякого “Николашки”) по поводу своего словаря, приняв самоуничтожительную и одновременно и серьёзную, и ироничную интонацию, “подкладывая себя” уже с другой стороны: “Я долго думал – посылать ли Вам эту книгу, так как слышал, что Вы – человек труда в писательстве. В этой же книжке нет труда и так называемой глубины. Написана она, как видите, на местном крестьянском наречии, частью известном в двух-трёх северных губерниях (а заслуга ли заставить читателя освоиться с грубыми формами своего языка?). В наречии этом нет кафедральной музыки Мильтона, но не согласитесь ли Вы с тем, что в нём звучит то, что звучит, например, в песнях лугового жаворонка, поднимающегося из низкой серёдки в тёплую синь неба, и не есть ли всякое искреннее пение по своей природе поклонение, и не следует ли сказать того же самого о всяком истинном труде?” Львов-Рогачевский не успокоился и в газете “День” противопоставил Клюева всем его “рекомендателям”. “Из всех поэтов, которые выступили как живые иллюстрации к докладу Городецкого, глубоко взволновал всех только Н. Клюев. Но какое отношение имеет он к акмеистам и адамистам?.. После первой книги Н. Клюев стал желанным гостем разных кружков. Мне тяжело смотреть, когда Н. Клюева представляют публике то парнасец Валерий Брюсов, то мистик Свенцицкий, то развязный певец Голгофы Иона Брехничёв, то акмеист Сергей Городецкий. Как это унижает талант!”

В этих словах Клюев почувствовал унижение как раз со стороны критика. Он же сам не несмышлёный барашек, которого ведут, куда надо на верёвочке! Статью Рогачевского он, судя по всему, не читал, но ему её, разумеется, пересказали с соответствующими комментариями, обвиняя его самого в “предательстве”. И Клюев пишет письмо, предназначавшееся для публикации в “Биржевых ведомостях”: “Милостивый государь, господин редактор! До меня дошли слухи, что критик из “Современного мира” г. Львов-Рогачевский в недавнем фельетоне в газете “День” обвинил “Цех поэтов”, к которому я имею честь принадлежать, в том, что меня “заманили” туда. Мне это кажется обидным, и я спешу разуверить г. Львова-Рогачевского в его представлении обо мне, как о полном незнайке своей дороги в искусстве. Моё тяготение именно к “Цеху поэтов”, а не к иным группам, вполне сознательно. Примите и пр. Николай Клюев”.

С этим письмом были ознакомлены члены “Цеха”, которым Клюев отнюдь не присягал на верность. Он лишь обозначал свой собственный путь, выбранный собственной волей, совпавший на определённом отрезке с “Цехом” и его апологетами. Гумилёв, восторгавшийся “Сосен перезвоном” и “Братскими песнями”, числивший родословную молодого поэта от начала XIX века, от пушкинской поры, – о “Лесных былях” не проронил ни слова. “Плясею” “Цех” также в свет не выпустил. Оригинал письма остался в архиве Михаила Лозинского и, судя по всему, даже не дошёл до редакции “Биржевых ведомостей”.

* * *

18 февраля 1913 года редактор Санкт-Петербургского “Народного журнала” Екатерина Замысловская писала Александру Ширяевцу, присылавшему ей стихи из Ташкента: “Очень полезны будут вам указания Николая Алексеевича Клюева. Это один из самых талантливых современных поэтов. Особенно хорош 3-ий том его стихов. Если там у Вас нельзя достать, напишите, я Вам вышлю. Клюеву Вы можете написать смело. Я с ним познакомилась на заседании литературного общества (том самом заседании – 15 февраля, где, как писала “Русская молва”, “исключительный успех выпал на долю поэта Клюева”. – С. К.) с тем, чтобы поговорить о Вас. Он сам крестьянин. Пишите ему так: Петербург, Усачёв переулочек, д. 11, кв. 1, г-же Расщепериной для

Николая Алексеевича Клюева. Он всегда в разъездах. Я ему сказала, что пошлю его адрес Вам и дала прочитать Ваши стихи”.

Ширявец написал Клюеву, уже знакомому с его произведениями (это письмо, к сожалению, неизвестно) и получил ответ: “Дорогой Александр Васильевич – я получил Ваше письмо и бандероль. Мне очень радостны все Ваши слова и выводы, и я всегда буду любить Вас, как любил заочно по песням в “Народном журнале”. Вы мне очень близки по духу и по устремлениям к песне. Я сейчас уезжаю из Питера домой и из дому напишу Вам подробно”.

Клюев действительно рвался домой. Несколько месяцев, проведённых в Москве и Петербурге в “культурном сообществе”, вымотали всю душу, и хотя он понимал, что без этого мира ему уже не прожить, горько жаловался на пережитое и перенесённое в письмах из деревни Рубцово, куда перебралась его семья. “Милый братик, – писал он Ширяевцу, – меня очень трогает твоё отношение ко мне, но, право, я гораздо хуже, чем ты думаешь. Пишу я стихи, редко любя их, – они для меня чаще мука, чем радость, и духовно и материально. Не думай, друг, что стихи дают мне возможность покупать автомобили, они почти ничего мне не дают, несмотря на шум в печати и на публичные лекции о них и т.п. Был я зимой в Питере и в Москве, таскали меня по концертам, по гостиним, но всегда забывали накормить, и ни одна живая душа не поинтересовалась, есть ли у меня на завтра кусок хлеба, а так собиравшись по 500 человек в разных обществах слушать меня. Теперь я, обглоданный и нищий, вновь в деревне – в бедности, тьме и одиночестве, никому не нужный и уже неинтересный. И никто из людей искусства не удостаивает меня весточкой-приветом, хоть я и получаю много писем, но всё – от людей бедных (не причастных литературе) из дальних углов России. В письмах эти неучёные люди зовут меня пророком, учителем, псалмопевцем, но на самом деле я очень неказистый, оборванный, бедный человек, имеющий одно сокровище – глухую, вечно болеющую мать, которая, чуть поздоровше, всхлипывающим старушким голосом поёт мне свои песни: она за прялицей, а я сижу и реву на всю избу, быть может, в то время, когда в Питере в атласных салонах бриллиантовые дамы ахают над моими книжками.

Братик мой милый, тяжко мне с книжками и с дамами и с писателями, лучше бы не видеть и не знать их – будь они прокляты и распрокляты! Страшно мне и твоё писательство и твой сборник стихов, который ты думаешь издавать! – погоди ещё, потерпи, ведь так легко, задарма, можно погибнуть через книжку, а вылезать из ямы, восстанавливать своё имя трудно, трудно...” А у него-то у самого какое теперь “имя” в этой литературной круговерти? Уж явно не соответствующее ни его духовной сути, ни тому, что скрыто в его стихах. Личину то “символистскую”, то “сектантскую”, то “акмеистскую”, то “народную” видят, а синтез сущностей, многоголосье созвучия природных и человеческих субстанций – не зрят и не чувят... И человеческое равнодушие при всех отпускаемых похвалах переносить нестерпимо, предметом “литературной полемики” быть горько и жутко, когда по сути нет никому до тебя дела... И об этом он писал Сергею Гарину:

“В Москве я постараюсь не быть дольше, так как ни московская жизнь, ни люди не соответствуют складу души моей, тишиной, безвестьем живущей – на зелёной тихой земле под живым ветром, в светлой печали и чистом труде для насущного... Нестерпимо осознавать себя как поэта, 12 тысяч книг которого разошлись по России, знать, что твои нищие песни читают скачущие атласные дамы, а господа с вычищенными ногтями и с безукоризненными проборами пишут захлёбывающиеся статьи в газетах про Надсона и “мужичков” и, конечно, им неинтересно, что у этого Надсона нет даже “своей избы”, т.е. того важного и жизненно необходимого, чем крепок и красен человек деревни...” Впечатление Клюева перед отъездом на родину от всяких “Бродячих собак” и аристократических салонов вполне можно сравнить с впечатлением его любимого Верлена, воплощённым в “Сатурнической поэме”:

*Право, и дьявол тут мог бы смутиться.
Я опьянел в этот солнечный день.
Что было хуже: сама ли певица
Или тупая её дребедень?*

*Всё расплывалось в каком-то угаре,
Желчь клокотала во мне, как фонтан.
О, эти арии в репертуаре
Хари, укрытой за слоем румян!*

*Вот и конец наважденью: я — дома!
Кто-то мне на ухо шепчет... Нет,
Это не явь, а всё та же дрёма!
К счастью, ночь на исходе... Рассвет...*

Клюев оказался дома наяву, а не во сне. Но перед тем как появиться в материнской избе, он почувствовал настоятельную необходимость очиститься.

Василий Фирсов обнаружил в десятом номере “Олонецких епархиальных ведомостей” за 1913 год извещение о том, что “послушники Александро-Свирского монастыря Дмитрий Жабинский и Николай Клюев перемещены в Яшеозерскую пустынь 23 марта”.

Монастырь был новообрядческий, но Клюев пошёл туда на послушание — разница в обрядах в это время потеряла для него принципиальное значение, и уже не держалось в голове “Умрём за единый азь”. Слишком многим искушениям он уже успел поддаться, чтобы сохранить изначально заложенную в него крепость духа... Но потребность в послушничестве ощущал великую.

Недолго он пробыл в монастыре, недолго пробыл и в пустыни... В вышедших “Лесных былях” уже было напечатано стихотворение, рождённое воспоминанием о прежнем монастырском пребывании и предчувствием нового послушания и нового ухода:

*Природы радостный причастник,
На облака молюся я,
На мне иноческий подрясник
И монастырская скуфья.*

*Обету строгому неверен,
Ушёл я в поле к лознякам,
Чтоб поглядеть, как мир безмерен,
Как луч скользит по облакам,*

*Как пробудившиеся речки
Бурлят на талых валунах,
И невидимка теплит свечки
В нагих дымящихся кустах.*

Молитва в природном мире слаще душе строгого обета, когда “мнится папертью бора опушка”, а свечки в кустах теплятся, зажжённые невидимой рукой. Здесь и приходит знание безмерности мира и саморастворение в этой безмерности... Здесь забываешь на время про все литературные склоки и дразги, здесь душа обретает радостный покой, а сердце — крылья... Добравшись до родительской избы, он подолгу слушал пение матери, а потом — опять уходил, уходил в поле, сидел на взгорке, слушал пение птиц и разговаривал с ними, его не боящимися... Однажды встретил в лесу земляка и тот, видимо, перепугался, увидев преобразившегося Николая. Что-то в его облике заставило замереть простого деревенского жителя, а Клюев, увидев это, спокойно сказал: “Не бойтесь, я забираю разные сведения у птиц и записываю себе в блокнот...” Помолчал и промолвил: “Скоро люди будут летать по воздуху на больших машинах...”

Люди уже начали летать... И это вторжение человека в мир небесный не могло радовать Николая. Страшные видения истребления Божьего мира, видимого и невидимого, руками человеческими мстились ему, и пророчество неизбежного скоро прозвучало в “Скрытном стихе”:

*Железьяк летит, как гора валит,
Юдо водное Змию побратень:
У них зрак — огонь, вздохи — торопы,*

*Зуб — лихой чугуун, печень медная...
Зверю, птичине на убой пойти,
Умной рыбице в глубину спляснуть!*

Это — глас “братьев-стариц”, но и сама природа предчувствует недоброе:

*Осенняя явь Обонежья,
Как сказка, баюкает дух.
Чу, гул... Не душа ли медвежья
На темень расплакалась вслух?*

*Иль чуёт древесная сила,
Провидя судьбу наперёд,
Что скоро железная жила
Ей хвойную ризу прошьёт?*

*Зовут эту жилу Чугункой, —
С ней лихо и гибель во мгле...
Подъёлыш с ольховой лазункой
Таится в родимом дупле.*

*Тайга — боговидящий инок,
Как в схиму, закуталась в марь.
Природы великий поминок
Вещает Лесной Пономарь.*

Это предвидел ещё в середине прошлого века русский офицер и поэт, отбывавший ссылку в Олонецкой губернии, — Фёдор Глинка в своём знаменитом стихотворении “Две дороги”, где чугуунка оставляет позади себя “осиротелое шоссе” и также ждёт своего часа:

*Но рок дойдёт и до чугуунки;
Смельчак взовьётся выше гор
И на две брошенные струнки
С презреньем бросит гордый взор.*

*И станет человек воздушный
(Плывя в чугуунной полосе)
Смеяться и чугуунке душевной,
И каменистому шоссе.*

*Так помиритеcь же, дороги, —
Одна судьба обеих ждёт.
А люди? — люди станут боги,
Или их громом пришибёт.*

Овладевая миром, совершенствуя инструменты цивилизации, человек в своей неистовой гордыне, уничтожая гармонию между природой и собой, — не в силах будет удержать их в своих руках, не в состоянии окажется снова запереть открытый им ящик Пандоры... Клюев чувствует, что м и р а здесь не будет... А пока он вглядывается в знакомые и преображающиеся на глазах черты родной земли, породившей и вскормившей его, стремясь запечатлеть каждый природный жест в движении и внутренней, неуловимой обычным глазом человеческим жизни.

*Осинник гулче, ельник глуше,
Снега туманней и скудней.
В пару берлог разъели уши
У медвежат ватаги вшей.*

*У сосен сторожки вершины,
Пахуч и бур стволов янтарь.
На разопрелые низины
Летит с мошнухою глухарь.*

*Бреду зареюющей опушкой, —
На сучьях пляшет солнопёк...
Вон над прижухлою избушкой
Виляет белчий дымок.*

*Там коротают час досужий
За думой дед, за пряжей мать...
Бурлят ключи, в лесные лужи
Глядится пней и кочек рать.*

Каждый эпитет совершенно преображает некогда привычную глазу картину — и она оживает, расцветает, наполняется новой энергией жизни, которую сообщает ей слово поэта, ловащего зорким “нерпячим” взглядом каждое незаметное обычному взору изменение природного мира, безмолвно беседующего и с живой тварью, и благодатно тянущемся к нежаркому северному солнышку растением... Душа снова обретает равновесие, и если даже появляется ощущение таинственной жути в родном сызмальства мире — то это и жуть родная, скрывающая до времени тайну природной речи и домашнего уюта, прячущая в избе невидимых существ.

*Я дома. Хмарой-тишиной
Меня встречают близь и дали.
Тепла лежанка, за стеной
Старухи-ели задремали.*

*Их не добудится пурга,
Ни зверь, ни окрик человечесий...
Чу! С домовихой кочерга
Зашепелявила у печи.*

*Какая жуть. Мошник-петух
На жёрдке дремлет, как куделя,
И отряхает зимний пух —
Предвестьем буйного апреля.*

...Он пишет понемногу стихи, шлёт из родной деревни немногочисленные письма тем, кого считает близкими себе. Понемногу отходит, всерьёз задумываясь о том, чтобы прекратить издаваться и швырять свои новые книжки под ноги критикам, что святыню псам... Помогает понемногу по дому, но предпочитает бродить по лесу и полю в одиночестве... Так и лето прошло, и осень вступила в свои права. Холодный северный ветер налетал порывами и гулко отдавался в печной трубе, словно странный гость о т т у д а переговоровивался с тайными хозяевами жилища — домовым, баннушкой... Словно предупреждал их о чём-то, словно готовил к встрече неизвестной ещё беды.

Беда не замедлила прийти. 13 ноября умерла Прасковья Дмитриевна, любимая мамушка.

“Старела мамушка, — вспоминал Николай в “Гагарьей судьбине”, — почернел от свечных восковых капелей памятный Часовник. Матушка пела уже не песни мира, а строгие стихиры о реке огненной, о грозных трубных архангелах, о воскресении телес оправданных. За пять недель до своей смерти мамушка ходила на погост отметить поклоны Пятнице-Параскеве, насладиться светом тихим киноварным Исусом, попирающим врата адавы, апосля того показать старосте церковному, где похоронить её надо, чтобы звон порхался в могильном песочке, чтобы место без лужи было. И тысячесветник белый, непорочный из сердца ея и из песенных губ вырос.

Мне ж она день и час сказала, когда за её душой ангелы с серебряным блюдом придут. Ноябрь нащипал небесного лебеда, осыпал избу сивым неслышным пухом. А как мамушкиной душе выйти, сходилась вихрь на деревне: две тесины с нашей крыши вырвало и, как две ржаных соломины, унесло далеко на задворки; как бы гром прошёл по избе...

Мамушка лежала помолодевшая, с неприкосновенным светом на лице. Так умирают святые, лебеди на озёрах, богородицына трава в оленьем родном бору...”

Смерть матери стала роковой чертой. Она разжала прежде скованные оброчи, изменила самого Николая. Другая жизнь началась.

(Продолжение следует)